

Так светел ли жизнерадостный Достоевский? Да и вообще – жизнерадостен ли он? Не является ли провокационной декларацией заявление Оскара фон Шульца, вынесшего в название своей книги слова, сами по себе являющиеся книгой, настолько велик их смысл и глубоко содержание. «Светлый, жизнерадостный Достоевский»!

Кажется – уму непостижимо! Не «писатель тёмных глубин», не «жестокий талант», а писатель, который сам свет и само жизнелюбие! Это Достоевский-то! Как бы ни был убедителен Оскар фон Шульц¹ в своих хельсинских лекциях, а читателю, лишь поверхностно знакомому с творчеством великого писателя, подобная категоричность непременно покажется слишком публицистичной и столь же скандальной, сколь скандальными нынче представляются утверждения противоположные – об упоении страданиями в произведениях Достоевского, о смаковании писателем душевных терзаний его персонажей, о слишком натуралистическом изображении их боли и мучений.

Оскар фон Шульц в своих лекциях убедительно показывает, что у Достоевского есть и то, и другое. Есть и светлые моменты в произведениях, их много и они любимы многими читателями. Но есть и страницы, наполненные описаниями трагедий, мучительной раздвоенности, метаний, безвыходности и безысходности. Спрашивается: почему нужно обязательно занимать какую-то одну сторону? Почему нужно быть категоричным? Многие современные исследователи творчества Достоевского утверждают, что свет и жизнерадостность этого писателя объясняются его истовой религиозностью. Мол, он, пройдя через

¹ Оскар фон Шульц. Светлый, жизнерадостный Достоевский. Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1999.

«горнило испытаний», обрёл «осанну» в Христе, в человеческом лице Господа. Предположим. Но, допустим, если в читателе нет такой истовости, если он вообще исповедует другую религию, не христианство? Что, для него Достоевский заказан как писатель и властитель дум? Закрыт? Может быть, они хотели бы отправить такого читателя к писателям другого толка? И как можно говорить о «великом реалисте», если исповедуешь только и всего лишь одну из его крайностей?

Опрометчивая категоричность.

Что означает, например, заявление, мол, «хватит греметь кандалами», говоря о каторжном периоде жизни Достоевского? Требуется ли оно признать истиной придуманное заявление, что Достоевский в Омске как сыр в масле катался? Что он тут как на диалектологической практике побывал? Повидал специфическое сообщество, сделал ценные записи, поговорил с не виданными ранее людьми. Короче говоря, времени даром не терял. И правда, сам писатель, выйдя из острога, сказал, что «не бесплодно пройдут эти годы», что он «узнал если не Россию, то народ русский хорошо, и так хорошо, как не многие знают его». Так куда прикажете деть кандалы, которые Достоевский носил-таки все четыре года? Куда деть ненависть к нему, дворянину и отставному офицеру, со стороны вчерашних крепостных и солдат, набранных по рекрутскому набору и совершивших свои преступления против таких же, как он, помещиков и офицеров? А эта ненависть означала если не смерть в любую минуту, то постоянные издёвки, тычки и пренебрежение. Что делать с постоянной угрозой расправы со стороны соседей по нарам, где всё место было «в три доски», где спали вповалку в запертой на ночь казарме? Спасаться в арестантских палатах госпиталя? Так там на соседних больничных койках лежали самые отчаянные, самые бесстрашные, бежавшие, совершившие правонарушения, не боявшиеся ни боли, ни чёрта, ни дьявола. Шимон Токаржевский рассказывал, что его там, в арестантских палатах госпиталя, эти самые прошедшие «зелёную улицу» чуть не отравили, сговорившись

с фельдшером, чтобы завладеть деньгами, неосторожно оставленными на видном месте. Что делать с душевными муками человека, оказавшегося в чуждой и незнакомой ему среде, где он, помимо физических и нравственных терзаний, ни на мгновение не мог остаться один на протяжении всего срока каторги? Просто стереть, и всё? И, радостно улыбаясь, говорить о «светлом, жизнерадостном Достоевском»? Вот уж действительно, делать подобные заявления – значит следовать известному силлогизму, хрестоматийной логической схеме. Ещё с университетской скамьи усвоил простое правило: утверждение, построенное на ошибочном основании, неизбежно приведёт к ошибочному выводу. Например. Утверждение: у человека есть то, чего он не терял. Допустим. Человек не терял рогов? Нет, не терял. Стало быть – человек рогат...

Какое отношение этот пример имеет к Достоевскому? На мой взгляд, прямое. Вот утверждение: Достоевский – светлый и жизнерадостный писатель. Размышления «раздвоенного сознания» Голядкина, терзания самоопределения Раскольникова, холодный цинизм Свидригайлова, а затем и Ставрогина, любовь до гробовой доски Рогожина, надрывное богоборчество Кириллова (а до него и каторжан из городка К.), беседы с чёртом Ивана Карамазова – это и есть свет и жизнерадостность? Что же тогда Достоевского читают и почитают во всём мире как основоположника экзистенциализма? Как глубочайшего мыслителя и философа? Как реалиста в «высшем смысле этого слова»? Если всё так чисто и безоблачно – где здесь глубина и откровения?

Крайние, полярные утверждения всегда вызывают недоверие. Точно так же, как в своё время вызывал недоверие Михайловский, борющийся с памятью о Достоевском и объявивший его «жестоким талантом», так же и почитатели и апологеты Оскара фон Шульца заставляют относиться с большим недоверием и скептицизмом ко всему, что они говорят, имея в виду обобщающее представление о творчестве Достоевского как о творчестве «светлого и жизнерадостного» писателя. Подобные

страхи заставляют предположить, что испытывающие их остались где-то в середине прошлого века. В настоящее время уже не надо бояться, что этого писателя снова «замолчат», снова не станут издавать, снова трудно будет писать о нём и публиковаться. Времена нынче другие.

Достоевский действительно велик. Этого писателя невозможно водрузить на чьи-то котурны. Всё его огромное наследие – это невероятно глубокая, широкая, панорамная картина духовной жизни человека, живущего в России. В ней есть всё – и страдание, и свет, и горе, и радость. Часто чтение Достоевского вызывает душевную боль, слёзы, вызывает страдание и непростые размышления о себе, своём месте в мире. Но я не помню ни одного человека, который бы написал или сказал, что после чтения произведений Достоевского у него пропало желание жить, что он разочаровался в возможности достижения желаемого, в людях вообще и в человеке в частности. Говоря высокими словами, хочется согласиться с Достоевским, сказавшим, едва отойдя от края пропасти, на котором он стоял, находясь на Семёновском плацу: «Жизнь – дар, жизнь – счастье!» Загвоздка в том, что осознать в полной мере это утверждение, прочувствовать его можно, лишь самому подойдя к самому краю той самой пропасти вместе с Достоевским и с героями его книг, пережив каждой своей клеточкой всё то, что могло бы с тобой случиться, упави ты в эту самую пропасть. Говорят, что если долго смотреть в бездну, однажды бездна взглянет на тебя. Достоевский отводит читателя от края этой бездны, едва она начинает поднимать на него свой взгляд. В этом его гений, и в том, как он это делает, – величайшая загадка его творчества.

Читаешь и перечитываешь его произведения, каждый раз открывая их заново. Да, язык сложен. Ход мыслей героев и всех прочих персонажей витиеват, запутан, часто непонятен. За логикой развития событий, если она есть, бывает сложно следить. Мысли, чувства, ассоциации, впечатления, отголоски тех, других и третьих, помноженные на многоголосое эхо, манят за собой,

оглушают, заставляют на мгновения даже забыть, кто ты, требуют вовлечься в события романа, вступить в общение с героями, полностью отдаться воле автора, позволить мареву наваждений, рождающихся с первых строк, окутать тебя, войти в твою суть, на время стать ею. И если ты станешь истинным читателем Достоевского, тогда с тобой произойдёт таинство, описанное ещё великим А. С. Пушкиным в его «Пророке».

Как пушкинский серафим, Достоевский проникает к глазам, ушам и устам читателя, проникает в его сердце. И если ты внимателен и вдумчив, то непременно погрузишься в созданный гениальным писателем омут, из которого выберешься с его же помощью, приняв им же протянутую руку. Но, выбравшись «на поверхность» и отдышавшись, с удивлением отметишь, что не можешь избавиться от странного ощущения. Если ты не стал пророком, поскольку Достоевский всё же не серафим, то наверняка стал другим, не таким, каким был до встречи с миром этого невероятного писателя.

Не случайно Достоевский так любил это стихотворение и мастерски читал его. В нём – шифр к творческому методу таких вот пишущих хитрецов, таких вот изобретателей замысловатых казуистик, каким был непревзойдённый и единственный в своём роде Фёдор Михайлович, автор всемирно известных произведений.

Двести лет исполнилось в 2021 году со дня рождения Ф. М. Достоевского. Если собрать в одно помещение всё, что написано о нём, все биографические и литературоведческие работы, вкуче с работами краеведческими, все книги, журналы, альманахи и сборники, все подшивки газетных статей, диски с записями фильмов и телевизионных передач, то можно спокойно открыть «достоевскую» библиотеку. Едва ли кому-нибудь удастся осилить все собранные в ней тексты. Но даже если вдруг такой человек найдётся, то и он не сможет сказать, что полностью постиг мир Достоевского. Гением этого автора создана настоящая Вселенная. В ней можно лишь мечтать долететь от звезды к

звезде, открывать невидимые ранее объекты. Но никогда не следует забывать о её бесконечности и невозможности финального её постижения. Лишь исследователю, осознавшему эту «простую» мысль, будет комфортно и уютно в мире Достоевского.

Мне, как человеку, всю жизнь занимающемуся изучением сибирского окружения великого писателя, его жизни в Сибири и произведений, написанных под влиянием сибирских впечатлений, в первую очередь интересны моменты, связанные с разгадкой тайны личности Достоевского. Ясно, что каторга не могла пройти бесследно. Об этом Достоевский высказывался совершенно недвусмысленно. Направляясь в острог, Достоевский сожалел, что, если не представится ему возможность писать, будучи закованным в кандалы, «сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольётся!» Он с ужасом осознавал: «Да, если нельзя будет писать», – он погибнет.

К счастью, «благородные люди» смогли сделать так, что Достоевский если и погиб в остроге, то «не совершенно». Погибла та часть его, с которой он и сам уже готов был расстаться. Та часть, которая, собственно, и привела его на каторгу. В остроге Достоевский избавился от мечтательности, приобретённой им вместе с увлечением европейским романтизмом, сентиментализмом и утопизмом. «Взгляд и нечто» сменились совершенно новым художественным методом, который сам писатель называл «фантастическим реализмом», реализмом в высшем смысле этого слова.

Собираясь раскрыть в романе или повести некую идею, Достоевский стремился, в первую очередь, завоевать доверие читателя. Все персонажи помещались в узнаваемые места. Многие из них были топографически точными, имели конкретный адрес, улицу, дом, подъезд и даже квартиру. В книгах Достоевского читатели – люди, обычно отчуждённые друг от друга, замкнутые, закрытые каждый в своём мире, – вдруг с огромным удивлением обнаруживали, что в сознании любого человека, независимо от

ступеньки, которую тот занимает на социальной лестнице, живёт ранимая душа, звучат на все лады голоса. Все вокруг, так же как и я, взявший в руки книгу, страдают, любят, разочаровываются, задумываются, негодуют, радуются, испытывают счастье и боль.

Величайший гуманизм, человечность как основа любого произведения Достоевского – едва ли не главное качество, всегда привлекавшее к его творчеству миллионы людей.

Перемены в творческом методе писателя произошли именно после Омска. В 1840-е годы всё происходящее в произведениях Достоевского, будь то «Бедные люди», «Двойник» или «Хозяйка», вымышлено. Всё описываемое могло произойти где и с кем угодно. После Омска всё меняется. Раскольников, история его преступления и наказания? Пожалуйста, вот газетная хроника, а в ней сообщение о студенте, совершившем страшное убийство. Роман «Бесы»? – все в Петербурге знали о тайных обществах, о Нечаеве и нечаевцах, совершённых ими злодеяниях, о голосах русских, живущих за границей: Герцене, Бакуanine, с их призывами, направленными против российской государственности. Роман «Братья Карамазовы»? Казалось бы – последний роман писателя, вершина творчества. Неужели и в нём есть реальный след? Да, и его, оказывается, легко обнаружить. Прототипом Дмитрия Карамазова, одного из героев романа, стал бывший омский каторжанин Дмитрий Ильинский, осуждённый за убийство своего отца и отбывавший наказание вместе с Достоевским. И это уже не просто отпечаток реальной жизни. Это память, пронесённая через десятилетия...

Почему? Что так радикально повлияло на мировоззрение писателя, а вслед за ним и на творчество?

В Омском остроге всё, происходившее с Достоевским, происходило с ним впервые. При этом каждое изменение, любое отличие от прежней жизни носило выраженный характер и обладало силой невероятного эмоционального воздействия.

Представьте: дворянин во втором поколении, из очень небогатой многодетной семьи, выучился на инженерного офицера

в одном из самых престижных технических военных учебных заведений Петербурга и сразу же вышел в отставку. На что он рассчитывал жить? Ни состояния, ни поместья с большим числом крепостных, ни каких-то других источников дохода у него не было. Значит, полагался только на свой талант. Верил, что он станет известным писателем и сможет жить на литературные заработки. Однако, кроме веры в свои силы и возможности, у тогдашнего Достоевского была вера и в разного рода утопии. Например, что можно воплотить в жизнь теорию Шарля Фурье: построить в живописной местности здания, куда поселить ранее ничем не связанных людей из самых разных сословий, объявить им, что они отныне равны во всём, – и таким образом решить все существующие в обществе проблемы. Что тут сказать? Романтик, мечтатель!

А что он написал брату, отправляясь на каторгу? «Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чём жизнь, в чём задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою».

Быть человеком между людьми... Да между какими людьми? Где он предполагал найти *людей*? В остроге, среди клеймённых, закованных в кандалы, битых палками, шомполами и розгами? Среди убийц, разбойников, грабителей, фальшивомонетчиков, воров, доносчиков? Номинально они, конечно, тоже люди, но почти потерявшие человеческий облик. Да и кого они убивали, кого грабили? Как раз таких, как он сам, как Достоевский: помещиков и офицеров. Ведь при крепостном праве некоторые помещики ощущали себя настоящими рабовладельцами и творили со своими крепостными что хотели. И семьи разрушали, и продавали, и бесчинствовали. Большое искушение для любого «раба», не утратившего человеческого достоинства, – поджечь имение барина или кистенём его приложить... А офицеры? В армию по рекрутскому набору забирали в то время из тех же крепостных

на бесконечные двадцать пять лет. Чем солдаты не те же рабы? Офицер, каких бы он ни был голубых кровей, – человек далеко не всегда безукоризненно благородный и с уважением относящийся к людям вообще, а к солдатикам – тем более. И поиздеваться могли-с, и руки распуścić. А у солдатиков терпение тоже не безграничное. Тем более в руках ружьё с примкнутым штыком... Легко представить себе, как бывшие крепостные, угодившие в острог, смотрели на вчерашних господ. Остаться человеком среди *таких* людей – дело далеко не из простых. А уж «в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть» для мечтательно-го юноши, вкусившего литературной славы, – задача, кажущаяся и вовсе неподъёмной.

В том же, последнем предкаторжном письме брату есть, правда, и другие слова. В них-то как раз главная надежда и основное объяснение, как Достоевский выжил и на что именно опирался, преодолевая ненависть со стороны каторжан. «Да, правда! – писал Фёдор Михайлович, – та голова, которая создавала, жила вышею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и ещё не воплощённые мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это всё-таки жизнь!»

Память, образы, сердце, плоть и кровь. Умение любить, и страдать, и желать, и помнить. И ещё характер. «Неподклонимость», как выразился Достоевский, воле всех, кто хотел его и нескольких других дворян, оказавшихся в остроге, унижить, сломить, уничтожить.

Трудно вообразить более подходящее место для проявления максимальной силы духа, чем каторжный острог того времени. Страшная антисанитария, отвратительное питание, невыносимые условия проживания при необходимости тяжело и часто бессмысленно работать – на фоне издевательств и ненависти со стороны «сотоварищей» по каторге, суровых требований закона

и полной зависимости от обхождения с арестантами осторожного начальства.

«Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме, – описывал своё арестантское житьё Ф.М. Достоевский брату сразу же после выхода из острога. – Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели, так что в целый день почти нельзя читать. На стёклах на вершок льду. С потолков капель – всё сквозное. Нас как сельдей в бочонке. Затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лёд едва оттаивал), а угар нестерпимый – и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют бельё и всю маленькую казарму заплескают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая. Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, “живой человек”. Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, и вшей, и тараканов четвериками. Зимою мы одеты в полушубках, часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах сапоги с короткими голяшками – изволь ходить по морозу. Есть давали нам хлеба и щи, в которых полагалось $\frac{1}{4}$ фунта говядины на человека; но говядину кладут рубленую, и я её никогда не видал. По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен. Суди, можно ли было жить без денег, и если б не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работает, продаёт и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасало. Не курить табаку тоже нельзя было, ибо можно было задохнуться в такой духоте. Всё это делалось украдкой. Я часто

лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случилась падучая, но, впрочем, бывает редко. Ещё есть у меня ревматизмы в ногах. Кроме этого, я чувствую себя довольно здорово. Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемены, – право, можно простить, если скажешь, что было худо. Кроме того, всегда висящая на носу ответственность, кандалы и полное стеснение духа, и вот образ моего житья-бытья. Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года – не скажу тебе. Долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал».

Как говорится, нет худа без добра. «Вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, принесло свои плоды». За этими словами – история духовного перерождения, история стойкости и мужества, способ пройти «горнило испытаний» и не сгореть в нём, а возродиться, выйти совсем другим человеком.

На какие работы ходил Достоевский в Омске? Вопрос совсем не досужий, потому что, узнав о помощи писателю со стороны коменданта Омской крепости А.Ф. де Граве и врачей омского госпиталя, один омский краевед убеждённо стал говорить людям, что Достоевский в Омске «как сыр в масле катался». Такая наглая, вызывающая ложь может возмутить любого человека, даже такого, кто ничего не знает о пребывании писателя в омском каторжном остроге. Чтобы узнать правду, достаточно просто поверить самому Фёдору Михайловичу, который в уже цитированном письме брату говорил о помощи к себе со стороны «благородных людей», без которой он бы «погиб совершенно». Однако здесь же добавлял: «Они (каторжане. – В. В.) бы нас съели, если б им дали. *Впрочем, посуди, велика ли была защита*

(курсив мой. – В. В.), когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений». Да и опасно было помогать каторжанам вообще, а политическим, к которым относился Достоевский, – в особенности. «Я знаю, что в этом городе в то *недавнее давнопрошедшее* время было столько донощиков, столько интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку!»

Какую же помощь всё-таки оказывали Достоевскому?

Да, он ни разу не попал на Иртыш в декабре месяце, когда его товарищу по кружку Петрашевского – С. Ф. Дурову – вместе с другими каторжанами было поручено разобрать баржу, вмёрзшую в лёд. После этой работы в ледяной воде Дуров навсегда остался инвалидом. Это о нём в «Записках из Мёртвого дома» говорится: «Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошёл он в него вместе со мною, ещё молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой». Да, Достоевский избежал и работы по очистке выгребных ям в остроге. После нескольких месяцев такой работы арестанты навсегда теряли обоняние.

Как отмечал сам писатель, заставляя дворян работать наравне с другими было бы вопиющей несправедливостью. «Странно было бы требовать с человека, вполовину слабейшего силой и никогда не работавшего, того же урока, который задавался по положению настоящему работнику». «Но это “баловство”, – отмечал он, – не всегда исполнялось, даже исполнялось-то как будто украдкой: за этим надзирали строго со стороны. Довольно часто приходилось работать работу тяжёлую, и тогда, разумеется, дворяне выносили двойную тягость, чем другие работники».

Поэтому Достоевский ходил вместе с другими толочь алебастр в специально отстроенном сарае на берегу Иртыша. Была ли эта работа по-настоящему тяжёлой? Видимо, да. Потому что

силиконовая пыль, поднимавшаяся в воздух, когда разбивали молотами алебастр, разъедала лёгкие. И не в длительном ли вдыхании той пыли причина эмфиземы лёгких, от которой впоследствии умер Достоевский?

Он продолжительное время работал в инженерной мастерской, крутил точильное колесо. Каторжане вытачивали детали для мебели, которую сами изготавливали. Колесо нужно было крутить длительное время с одинаковой силой, что требовало выносливости и определённого уровня физического развития. «Колесо было большое, тяжёлое. Требовалось немалых усилий вертеть его, особенно когда токарь (из инженерных мастеровых) точил что-нибудь вроде лестничной балясины или ножки от большого стола, для казённой мебели какому-нибудь чиновнику, на что требовалось чуть не бревно. Одному в таком случае было вертеть не под силу, и обыкновенно посылали двоих – меня и ещё одного из дворян, Б. Так эта работа в продолжение нескольких лет и оставалась за нами, если только приходилось что-нибудь точить».

В то время существовало правило: если арестант назначался на работы, которые были востребованы, то он ходил на них бесценно до тех пор, пока необходимость в этих работах не отпадала. Достоевский вместе с другими ходил на кирпичный завод, изготавливал кирпичи. Уж эту-то работу даже самый легкомысленный краевед не мог бы отнести к лёгким. Нужно было пройти весь цикл: наносить и замесить глину, заполнить формы, выставить в печи, потом вынуть, просушить и сносить в специальное место. На день давался «урок» – изготовить не менее 250 кирпичей.

Подобной работе Достоевский был даже рад: она хотя и была тяжёлой, но не подрывала здоровье, а укрепляла его физически и позволяла показать каторге, что он не капризничает, не требует к себе снисхождения и поправок, работает наравне со всеми.

Помогали ему и врачи омского военного госпиталя. «Главный лекарь» этого госпиталя Иван Иванович Троицкий позволял

Достоевскому бывать здесь значительно чаще, чем остальным арестантам. Однако в арестантских палатах военного госпиталя Достоевскому жилось не намного слаще, чем в остроге. Сюда приводили наказанных телесно арестантов. Тех, кто прошёл так называемую «зелёную улицу». Их спины были похожи на большие волдыри, из которых торчали обломки сломанных палок. Достоевский, сострадая им, просил фельдшеров помочь «несчастливым». Этих людей наказывали за серьёзные правонарушения: побег, попытку покушения на офицеров или конвоиров. Это были самые бесстрашные, самые отчаянные из каторжан. Неудивительно, что однажды на одного из товарищей Достоевского, Шимона Токаржевского, в арестантской палате омского военного госпиталя было совершено покушение. Чтобы завладеть небольшой суммой денег, по неосторожности оставленной ему одним из врачей, арестанты, сговорившись с фельдшером, всыпали заболевшему арестанту яд в лекарство. Только чудесная случайность позволила Токаржевскому остаться в живых...¹

Единственная и самая существенная помощь, которую оказывали Достоевскому в госпитале, – это была возможность записывать. Кто-то из госпитальных медиков тайком, рискуя и работой, и, возможно, собственной свободой, приносил ему крохотные листки бумаги. На них-то, украдкой, Достоевский торопливо записывал подробности арестантской речи, пословицы и поговорки, услышанные в остроге. Он слышал их впервые, и запомнить на слух не было никакой возможности. Было сделано около пятисот записей. Впоследствии они были сшиты самим писателем и названы «Моя тетрадка каторжная». А мы знаем эти записи под названием «Сибирская тетрадь». Когда читаем «Записки из Мёртвого дома», «Преступление и наказание» и «Бесы», находим в них прямые цитирования из той заветной тетрадки.

¹ Об условиях жизни Ф.М. Достоевского в остроге, о его омском окружении смотрите более подробно в книге: Вайнерман В.С. «Поручаю себя Вашей доброй памяти» (Ф.М. Достоевский и Сибирь). Омск, 2020.

Четыре года Достоевский в каждую минуту открывал для себя совершенно новый мир и невиданных ранее его обитателей. Он учился «под корой грубого и наносного» открывать трепет живой человеческой души, учился располагать к себе тех, кто ненавидел его и встречал в штыки, обращал их в своих друзей и откровенных собеседников. Не каждому дано такое умение. Дворяне из поляков, находившиеся вместе с Достоевским в омском остроге, ненавидели каторжан из простонародья и открыто противопоставляли себя им. Наблюдая за проявлениями их высокомерия и злости, Достоевский думал, что и он мог бы жить так же, с гордо поднятой головой, предпочитая повседневное сражение при абсолютном неравенстве сил, с угрозой в любое мгновение пасть на «поле боя» – любому другому взаимодействию с острожниками. Но в том-то и состояло отличие великого писателя от всех, кто стоял с ним рядом, что на самом деле он всеми силами тянулся именно к своим тогдашним врагам. Он хотел видеть в них не врагов, а именно *людей, народ*. Он ощущал себя частью этого народа и стремился найти в массе каторжан ответные движения, понимание и поддержку.

По всей видимости, ему это удалось, иначе у Достоевского не было бы оснований воскликнуть, выйдя из острога: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродят и разбойник<ов> и вообще всего чёрного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Не раз приходилось встречать высказывания о пребывании Достоевского на каторге, ничего, кроме недоумения, не вызывающие. Правда, их авторы мнили себя остро словами, эдакими умниками. Всех бы писателей, мол, на каторгу, да в условия, подобные тем, в которых находился Достоевский, – вот тогда бы и посмотрели, кто чего стоит.. Отталкивались такие остро словы от воспоминаний о словах самого Достоевского. Известный

литератор Всеволод Сергеевич Соловьёв, поклонник творчества Достоевского, однажды пришёл к нему с визитом и пожаловался на некие нервные припадки, которыми страдал. На это Фёдор Михайлович якобы ему ответил, что тоже страдал такими припадками, но его... «спасла каторга... совсем новым человеком сделался... <...> О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!»

Однако, как говорится в известной поговорке, что позволено Юпитеру – не позволено быку. Легковесные шутки на совсем не легковесную тему мало того что неуместны. Они хорошо характеризуют самих остряков как людей недалёких и не дающих себе труда задуматься над тем, что они говорят. Да и заставляют предположить в так называемых остряхах обычных провокаторов. В стране, пережившей ГУЛАГ и до сих пор от его ужасов не оправившейся, шутки на темы «посадки и отсидки» выглядят более чем двусмысленно...

Достоевский – писатель невероятный, писатель, чью жизнь и творчество невозможно представить обычному человеку и уложить их в прокрустово ложе повседневных представлений. Любая попытка окажется неудачной. Но какие-то критерии всё же должны быть? Известны слова, взятые из письма А. С. Пушкина А. А. Бестужеву, о том, что «драматического писателя надо судить по законам, им самим над собою признанным». По каким законам нам «судить» о Достоевском? Много сказано о его «фантастическом реализме», о его «реализме в высшем смысле этого слова». Много написано диссертаций, монографий, статей. Удалось ли кому-то полностью открыть «тайну Достоевского», постичь его во всей полноте? Думаю, что нет.

Знаменитый японский кинорежиссёр Акира Куросава отмечал, например: «Никто, как он, так не выразил соучастие и доброту. Безмерное соучастие к чужому горю, на которое он был способен, перешло границы, доступные обычному человеку. <...> Достоевский страдал вместе с теми, кто страдает. С этой точки зрения он превзошёл границы человеческого».

Известный турецкий писатель Орхан Памук вспоминал свои ощущения при чтении «Братьев Карамазовых»: «Я понимал, что не одинок в этом мире, но ощущал оторванность от него и беспомощность. Размышления героев казались моими мыслями; сцены и события, которые потрясли меня, я словно переживал сам. Читая роман, я чувствовал одиночество, словно был первым читателем этой книги».

Хотел было здесь привести множество и других высказываний великих людей о Достоевском и его творчестве. Но отказался от этого желания. Каждое из них раскрывает лишь какую-то ипостась великого писателя, открывает большую или маленькую звёздочку в его невероятной Вселенной. Значительно важнее увидеть сегодня в Достоевском – человека, страдавшего за близких и далёких, дружелюбно настроенных и враждебных, современников и тех, кто будет жить в будущем. Он хотел видеть Россию процветающей, а всех, кто живёт в ней, – счастливыми. Он хотел примирения всем враждующим сторонам и Мира – Земле. Нет и не было другого подобного писателя, сумевшего совершенно невероятным образом стать писателем для всех и каждого.

Кто-то читает Достоевского внимательно, вдумчиво, откликаясь на всё, что написано, и стараясь уловить утаённое между строк. Кто-то раздражённо отбрасывает в сторону его книги, потому что они не отвечают сложившимся представлениям, как должно людям чувствовать, говорить самим с собой и общаться с другими. А предположить, что возможны и другие варианты общения, кроме твоих собственных, такому человеку не хватает душевной широты: шоры мешают смотреть по сторонам. Кто-то займёт позицию эксперта и скажет, что, мол, да, умно и, может

быть, надо вникнуть, но не сейчас, не пришло время или, напротив, уже миновало... Но никто не останется равнодушным, соприкоснувшись с мирами Достоевского.

С со дня рождения писателя читателю особенно важно увидеть в Фёдоре Михайловиче не только черты величия гения, находящегося на недостижимой духовной вершине, но сияющие в нём черты земной простоты и элементарной человечности. «Для нас как-то не столь уж важно, что он пророк, – писал Валентин Распутин, – для нас пророк – далёкое, поднебесное понятие, до которого не дотянуться, а так не хочется отпустить от себя Фёдора Михайловича и лишиться его близости и доверительности. Его пророчество объясняется тем, что он был умным и внимательным смотрителем русской жизни и как исповедник знал, где в человеке искать человека. У него десятки откровений, которые превосходят человеческий ум, даже самый пронизательный, и которые, кажется, не могут быть земного происхождения. <...> Он сказал решительно обо всём, что считается сегодня злободневным».

Он так устроен, этот невероятный и живой мир Достоевского, что, сколько бы раз ни входил в него, каждый раз будешь входить как будто впервые. Как будто впервые будут звучать, перебивая друг друга, голоса персонажей, их страстные внутренние монологи и напоминающие видную часть айсберга диалоги, когда всем ясно, что бóльшая часть остаётся невидимой глазу; будут мерещиться неясные картинки, вспыхивать, подобно искрам костра, идеи. Вспыхнув, станут проникать в души героев и жечь их, жечь, пока не побудят к какому-нибудь действию. И каждый раз, снова и снова, следя за ними, не смогу удержаться от сопереживания, со-чувствования, со-мыслия, как и от всегдашнего вопроса, извечного впечатления «от Достоевского», вопроса, на который едва ли когда-нибудь отыщется окончательный ответ: «Как это сделано?» И да будет литься на меня животворящий свет гения. И охватит меня счастье, что я не был никем перенесён на горную вершину, а забрался на неё вместе с автором великих

книг, обдирая колени, срывая ногти, страдая и сопереживая его героям и ему самому. И только этот путь, единственный из всех возможных и правильных, приведёт нас к проникновению в миры Достоевского, в его реальность и его предвидения, предчувствования и предвосхищение. Быть с ним, стоять рядом с ним и смотреть вместе с ним в сторону будущего России – только так можно быть согретым идущим от него светом и жизнелюбием.